

Кирилл Борджия

Нагая слена



18+

Кирилл Борджия

Нагая смена

<https://litres.ru/74686868>

SelfPub; 2026

Аннотация

В преддверии закрытия ночного клуба «Камелия» фотограф получает необычный заказ: снять двенадцать танцовщиц. Но вместо глянца он ищет настоящее — то, что скрыто за привычкой раздеваться. Это чувственный и целомудренный роман о том, как тело перестаёт быть товаром и становится собой.

Содержание

Пролог. «Камелия»	5
Профессионал	15
Вамп	29
Новичок	43
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Кирилл Борджия

Нагая смена

Пролог. «Камелия»

I

Клуб стоял в подвале доходного дома на Садовой — там, где тротуар ещё помнит булыжник, а фасады помнят лепнину, и где днём пахнет кофе из кофейни на углу, а ночью — духами и дымом, и ещё чем-то сладковатым, что не назовёшь, но что оседает на пальцах, если провести ими по перилам. Вывески не было. Только латунная табличка у двери, маленькая, как визитка, и на ней — камелия, выгравированная тонкой линией, и под ней — ничего, ни слова, ни буквы. Табличка была старой, но не обветшалой: её чистили, и она блестела в свете фонаря так, будто её только что протёрли бархаткой.

Фотограф нашёл дверь не сразу. Он прошёл мимо дважды — сначала по чётной стороне, потом по нечётной, — и только на третий раз заметил табличку, и то потому, что она блеснула, когда он повернулся. Он остановился, посмотрел на камелию, потом на свои часы. Было без пяти семь. Он не опаздывал, но и не спешил.

Садовая ещё не проснулась для ночи: магазины закрывались, кафе гасили витрины, редкие прохожие шли быстро,

подняв воротники, будто торопились домой. Он нажал на кнопку звонка — старую, латунную, с облупившейся краской, — и услышал, как где-то в глубине, за дверью, отозвался колокольчик. Не электрический, а настоящий, с язычком. Звук был короткий и чистый, как капля, упавшая в воду.

Дверь открылась через минуту. На пороге стояла женщина.

Она была высокой — почти одного роста с ним, — и держалась так, как держатся люди, выросшие в доме, где умели держать спину. Платье на ней было длинное, тёмно-зелёное, с длинным рукавом и высоким воротом, и сидело оно так, как сидят вещи, сшитые на заказ: не облекая, а обозначая. Волосы — тяжёлые, чёрные, с проседью у висков, которую она не закрашивала, — были уложены короной, и в этой короне была видна рука: не парикмахера, а её собственных пальцев, привычных к шпилькам. От неё пахло не духами, а чем-то другим — тёплым, чистым, вроде выглаженного льна и чуть-чуть горьковатого, как кожура мандарина.

Ей было тридцать четыре, и она была красива той красотой, которую замечают не сразу, а потом уже не могут не замечать. Крупные черты — нос с горбинкой, широкие скулы, тяжёлые брови, — и глаза, тёмные, внимательные, с той хитринкой, которая бывает у людей, много видевших и ничему не удивляющихся. Губы — полные, чуть подкрашенные, — и подбородок, чуть тяжёлый, который она держала высоко. На шее, у самого ворота, билась маленькая жилка, и по ней

одной можно было понять, что она волнуется, хотя лицо её оставалось спокойным.

— Вы фотограф, — сказала она. Не спросила — сказала. Голос был низкий, с лёгким акцентом, который она не прятала. — Здравствуйте. Я Нино. Заходите, у нас тут не жарко.

Он шагнул за порог, и дверь закрылась за ним с мягким стуком, отсекая улицу, шум, вечер. В прихожей было сумрачно и прохладно. Пахло камнем и воском.

II

Из прихожей в зал вела узкая лестница — ступени из старого камня, стёртые посередине, — и перила из кованого железа, холодные на ощупь. На стенах висели фотографии: чёрно-белые, в тяжёлых рамах, — женщины в длинных платьях, женщины с веерами, женщины у шеста. На одной — совсем старой, с трещиной по диагонали, — стояла женщина, очень похожая на Нино, только старше, и держала руку на плече девочки лет десяти, с двумя косичками. Девочка смотрела в камеру серьёзно, без улыбки, как смотрят дети, которых долго просили не вертеться.

— Это моя мама, — сказала Нино, перехватив его взгляд. — И я. Тысяча девятьсот девяносто восьмой год.

— Здесь?

— Здесь. — Она чуть улыбнулась. — Я выросла в этом зале. Я делала уроки за барной стойкой. Я знаю каждую тре-

щину в этом паркете.

Она шла впереди, и каблуки её стучали по камню, и в этом стуке была та уверенность, с какой ходят по собственному дому. Лестница повернула, и они вышли в большое помещение с низким потолком и бархатом по стенам.

Было темно. Только несколько ламп горели над сценой, и в их свете было видно сцену — невысокую, деревянную, с шестом по центру, — и бархатные диваны вдоль стен, и бар в глубине, с полками, уставленными бутылками. Пахло духами, старым деревом и чуть-чуть — пылью, которую не вытирали неделю. Бархат на диванах был тёмно-красным, почти бордовым, и в тех местах, где на него падал свет, казался раненым.

— Садитесь, — сказала Нино, указывая на диван. — Я расскажу вам, зачем вы здесь.

III

Она села напротив — в кресло, прямо, не откидываясь, — и положила руки на колени. И он увидел, что руки у неё красивые: длинные пальцы, коротко остриженные ногти, тонкая золотая цепочка на запястье. И ещё — кольцо на безымянном пальце, старое, с камнем, который потускнел от времени. Она держала руки неподвижно, но пальцы её жили: то сжимались, то разжимались, словно она что-то считала про себя.

— Клуб закрывается, — сказала она. — Через неделю. Здание продано. Здесь будет... — она повела рукой, — ...не знаю. Кофейня. Или магазин. Или ещё что-нибудь.

— Почему?

— Потому что я одна. — Она сказала это просто, без жалости. — Мама умерла три года назад. Сестра уехала в Тбилиси. Я осталась. Я тянула, сколько могла, — она чуть усмехнулась, — а потом поняла, что не могу больше. Ночью — работа. Днём — бухгалтерия. И так — двадцать лет.

Она помолчала. Потом посмотрела на сцену.

— «Камелия» — это женское дело. Моя бабушка открыла его в шестьдесят девятом. Потом мама. Потом я. — Она чуть улыбнулась. — Три поколения. А четвёртого не будет. У меня нет детей.

— Жаль.

— Жаль. — Она кивнула. — Но не об этом речь. Я хочу, чтобы остались фотографии. Не глянец, не реклама. А... — она поискала слово, — ...люди. Я знаю, что вы снимаете. Я видела ваши работы. Вы умеете смотреть.

— Умею.

— Тогда слушайте условия. — Она подняла палец. — Съёмка — один вечер. Сегодня. Девушки заходят по одной. Танцуют. Вы снимаете. Потом — общий кадр. Всё.

— Хорошо.

— И ещё. — Она посмотрела на него. — Я останусь одеждой. Я не танцую. Я — хозяйка. Я не раздеваюсь перед ка-

мерой.

Она сказала это ровно, без вызова, но в голосе была та твёрдость, которая не требует подтверждения. Он кивнул.

— Понял.

— Вот и хорошо. — Она встала. — Тогда я пойду скажу девочкам, что вы приехали. А вы пока располагайтесь.

Она вышла, и каблуки её стукнули по камню лестницы. Он остался один.

IV

Он встал, прошёлся по паркету — тот скрипел в двух местах, у сцены и у бара, — и поднялся на сцену. Шест был старый, латунный, с потёртостями на месте, где его держали руки. Он потрогал его — холодный, — и подумал, что за двадцать лет этот шест держал, наверное, сотни женщин. Латунь была отполирована до блеска, но в тех местах, где пальцы сжимали её крепче, остались вмятины, как следы на песке.

Сцена была невысокой — сантиметров сорок, — и дерево на ней было тёмное, натёртое, с длинными царапинами, которые не убирали, а, наоборот, полировали. В углу сцены стоял маленький столик — для реквизита, — и на нём лежали забытые вещи: веер, перчатка, шпилька. Веер был раскрыт, и на нём была нарисована ветка с розовыми цветами; перчатка была чёрная, шелковая, с растянутыми пальцами;

шпилька — простая, железная, с потускневшей головкой.

Он спустился и прошёл к бару. За стойкой было темно, но он разглядел полки: бутылки, бокалы, старый телефон с диском. На стене висели часы — большие, с маятником, — и они шли, и тикали, и в этой тишине тиканье было единственным звуком, кроме скрипа паркета. Маятник ходил туда-сюда, туда-сюда, и в его ходе было что-то гипнотическое, как будто он отсчитывал не секунды, а что-то другое — то, что нельзя вернуть.

Он вернулся к дивану и сел. Диван был мягкий, продавленный, и в нём пахло пылью и старым бархатом. Он положил камеру на колени и стал ждать.

V

Нино вернулась через десять минут. С ней была девушка — высокая, с длинными ногами и точёными плечами, в чёрном платье, которое облегалo её так, как облегает вода. Платье было коротким, и под ним угадывалось тело — не худое, а крепкое, ладное, как у человека, который много двигается и мало ест.

— Это Карина, — сказала Нино. — Она первая.

Карина посмотрела на него — прямо, спокойно, — и чуть улыбнулась. Улыбка была не приветливая, а деловая: как у человека, который знает, зачем пришёл, и не ждёт от этого ничего, кроме работы.

— Здравствуйте, — сказала она. Голос у неё был чуть хрипловатый, как будто она только что проснулась или, наоборот, давно не спала.

— Здравствуйте.

Нино посмотрела на них обоих — и вдруг улыбнулась, и улыбка была тёплая, неожиданная, совсем не та, что раньше.

— Ну, — сказала она. — С богом.

И ушла. Каблуки её стукнули по камню лестницы и стихли.

VI

Он остался с Кариной в пустом зале. Она стояла у сцены, и свет из-под потолка ложился на её плечи, и он увидел, что она красива той красотой, которую не портит даже усталость: длинные ноги, тонкая талия, маленькая грудь, точёные мышцы, — и волосы, тёмные, гладкие, стянутые в низкий узел. Под глазами у неё были тени, и на левой щеке, у самой скулы, — маленькая родинка, похожая на крошку шоколада.

— Ну что, — сказала она. — Начнём?

Он поднял камеру. В видеоискателе она была другой — не усталой, а сосредоточенной, как будто готовилась к прыжку.

И вечер начался.

VII

А в зале ещё пахло духами и старым деревом, и часы тикали, и маятник ходил туда-сюда, туда-сюда, — и в этом тиканье было что-то от обратного отсчёта. Неделя до закрытия. Вечер до конца. И двенадцать девушек, которые ещё не знали, что скажут сегодня.

Нино стояла на лестнице — он видел её силуэт в проёме, — и смотрела в зал, и в её глазах было что-то, чего он не мог прочитать. Может быть, жалость. Может быть, гордость. Может быть, страх. Потом она повернулась и ушла наверх, и каблук её стихли окончательно.

А он поднял камеру и сделал первый кадр.

VIII

Карина стояла у шеста, положив на него руку, и смотрела не в камеру, а мимо — в тёмный зал, в пустые диваны, в бар, где горела одна лампа. И в её позе не было ни вызова, ни кокетства — только привычка. Привычка стоять так, чтобы тебя видели, и в то же время не видеть никого.

— Знаете, — сказала она, — я здесь восемь лет. Я знаю этот шест лучше, чем своего мужа.

— У вас есть муж?

— Был. — Она усмехнулась. — Он не знал, где я работаю. Я говорила: «В ресторане». Он верил. А потом узнал — и ушёл. — Она пожала плечами. — Ну и ладно.

Она оттолкнулась от шеста и прошла по сцене — легко, по-кошачьему, — и он снимал её, и в этих кадрах было что-то, чего он не видел в других клубах: не пошлость, не глянец, а работа. Настоящая, тяжёлая, каждодневная работа. Пот на висках, напряжённые мышцы, привычка держать спину.

А потом она остановилась и посмотрела на него.

— Слушайте, — сказала она. — А можно я сначала просто постою?

— Можно.

И она стояла — в свете лампы, у шеста, — и молчала. И он снимал. Так начался вечер.

Профессионал

I

Карина стояла у шеста, положив на него ладонь, — не держась, а просто положив, как кладут руку на плечо старого знакомого, с которым давно не о чем говорить, но и расстаться жалко. Он снимал её в этой тишине, и в кадре было видно то, что он заметил сразу: она не позирует. Она отдыхает. Плечи опущены, спина чуть ссутулена, и в этой сутулости было больше правды, чем во всех её отточенных движениях.

— Восемь лет, — сказала она наконец, не поворачивая головы. — Вы знаете, что это такое? Восемь лет — это больше, чем школа. Больше, чем институт. Я здесь дольше, чем где бы то ни было. Дольше, чем жила с мужем. Дольше, чем помню себя до замужества.

— И как?

— Как на работе. — Она повела плечом, и под тонкой тканью платья обозначилась лопатка — острая, как сложенное крыло. — Приходишь, переодеваешься, выходишь, танцуешь, уходишь. Как в офисе. Только офис — с шестом. И униформа другая.

Она оттолкнулась от шеста и прошла по сцене — легко,

мягко, стопы ставила точно, будто пол под ней был не деревянный, а чуть пружинящий, живой. И он смотрел, как движется её тело: длинные ноги, узкие бёдра, тонкая талия, — и в этом движении была та плавность, которая берётся не из зала, а из сотен вечеров на сцене. Она шла, и её тело знало, что на него смотрят, но не показывало этого — как ходят люди, привыкшие к вниманию и научившиеся его не замечать.

— Снимите платье, — сказал он.

Она обернулась. И улыбнулась — не деловито, а чуть иначе, с той ленивой насмешкой, с какой женщины, привыкшие к вниманию, принимают очевидное.

— Сразу?

— Сразу.

— Не по-европейски, — сказала она, но взялась за молнию. — Обычно сначала говорят: «Поговорим о вас». Или: «Что вы чувствуете, когда танцуете?» А вы — сразу. Мне это нравится. — Она потянула молнию вниз, и та пошла легко, с тихим шелестом. — Терпеть не могу, когда со мной говорят о чувствах. Особенно в такие моменты. Я не умею о них. Я умею — делать.

II

Платье соскользнуло с плеч и упало к ногам — чёрным блестящим пятном на тёмном дереве, — и она переступила через него, не глядя, привычно, как переступают через лужу.

Осталась в белье: чёрном, кружевном, но не парадном, а рабочем — с чуть растянутой резинкой на трусах и застиранным кружевом на чашках. И в туфлях — на высоком каблукe, с ремешком вокруг щиколотки.

И он увидел её тело.

Длинные ноги — сильные, стройные, с той линией икры, которая делается от танца, а не от спортзала: икра не круглая, а чуть удлинённая, как у бегуний на средние дистанции. Узкие бёдра. Плоский живот с едва заметной мягкостью внизу, у самой резинки трусов, — та мягкость, которая есть у всех женщин и которую не убирает никакой пресс. Маленькая грудь — аккуратная, с крупными, тёмными сосками, которые проступили сквозь кружево и напряглись от прохладного воздуха. И кожа — светлая, гладкая, с редкими родинками на плече и на животе, — и на этой коже, в свете лампы, было видно, как она дышит: медленно, глубоко, живот поднимался и опадал, и вместе с ним чуть двигались трусы.

Она стояла, опустив руки, и не прикрывалась, и смотрела на него — прямо, спокойно, — и в этом спокойствии была та уверенность, которая берётся не из гордости, а из привычки. Она стояла так, как стоят на работе: не демонстрируя себя, а просто находясь в своём теле, как в удобном рабочем комбинезоне.

— Вот, — сказала она. — Смотрите.

Он снимал.

Он снимал, как свет ложится на её плечо и на грудь, и

как кружево облегает сосок, и как она поворачивается — медленно, без кокетства, — и как её волосы качаются в такт движению. Он снимал, как она проводит рукой по шесту — вверх, вниз, — и как её пальцы скользят по латуни. Пальцы у неё были не ухоженные, а рабочие: коротко остриженные ногти, мозоль у основания среднего пальца, — и эта мозоль говорила о ней больше, чем все её слова.

— Повернитесь, — сказал он.

Она повернулась — и он увидел её спину: длинную, прямую, с ложбинкой вдоль позвоночника, с двумя ямочками над поясницей, которые стали глубже, когда она чуть прогнулась. И на левой лопатке — маленький шрам, тонкий, почти незаметный, как след от ногтя. Но когда она подняла руку, шрам натянулся и стал виден отчётливее — белая полоска на загорелой коже.

— Что это? — спросил он.

— Упала. — Она повела плечом. — В прошлом году. С шеста. Неудачно.

— Болит?

— Уже нет. — Она обернулась через плечо. — А тогда — да. Я месяц не могла поднять руку. Думала: всё, конец. Кто я без руки? — Она усмехнулась. — А потом прошло. И я вышла на сцену. И знаете, что? Я даже не испугалась. Я просто вышла и станцевала. Как будто ничего не было.

III

— Снимите всё, — сказал он.

Она расстегнула бюстгальтер — одним движением, привычно, — и грудь её вывалилась из чашек, маленькая, аккуратная, с крупными, тёмными сосками, которые напряглись ещё сильнее. Потом спустила трусы — медленно, по одному бедру, — и переступила через них, и осталась стоять в туфлях, и он увидел её всю.

У неё было тело, которое природа делает для движения: длинные ноги, сильные и стройные; узкие бёдра, с той линией, которая переходит в ноги плавно, без изломов; плоский живот с тонкой, светлой дорожкой волос, которая шла от пупка вниз и заканчивалась аккуратной, живой линией — подстриженной ровно, но не выбритой в гладь, — и эта линия была у неё, видимо, всегда, и она её не трогала. На левом бедре, чуть выше колена, был ещё один след — не шрам, а вмятинка, будто от долгого давления, — и он подумал, что это, наверное, от шеста.

Она стояла, опустив руки, и не прикрывалась, и смотрела на него.

— Вот, — сказала она. — Смотрите.

Он снимал.

Он снимал, как она стоит у шеста, и как свет ложится на её плечо и на грудь, и как она дышит — глубоко, ровно, —

и как на её плечах выступили мурашки. Он снимал, как она поворачивается — медленно, без спешки, — и как её бедра качаются в такт движению, и как она поднимает руки и кладёт их на шест, и как её спина выгибается. Вблизи было видно, что кожа у неё не идеальная: на плече — след от лямки, на животе — тонкая полоска от резинки, на спине — россыпь мелких родинок, как брызги. Это была не глянцева кожа, а живая.

— Восемь лет, — сказала она. — Восемь лет я раздеваюсь перед мужчинами. И знаете, что самое странное? Я до сих пор не привыкла.

— К чему?

— К тому, что на меня смотрят. — Она посмотрела на него. — Каждый раз — как первый. Каждый раз — как будто я стою голая перед комиссией. Только комиссия пьяная и хочет, чтобы я улыбалась. — Она чуть усмехнулась. — А я не умею улыбаться, когда не хочется. Я умею делать вид. Это разные вещи.

Она помолчала.

— Вы, наверное, думаете: «Вот, ещё одна». — Она кивнула на камеру. — Которой платят, чтобы она разделась и красиво стояла. И вы бы были правы. Только я не «ещё одна». Я — Карина. Я здесь восемь лет. Я знаю этот шест лучше, чем вы знаете свою камеру. — Она провела ладонью по латуни. — И всё равно каждый раз, когда я снимаю платье, у меня внутри что-то сжимается. Как будто я делаю что-то не

то. Как будто я предаю кого-то. Только не знаю кого.

IV

— Станцуйте, — сказал он.

Она включила музыку — латину, быструю, с ритмом, от которого дрожал пол, — и вышла на сцену, и он снимал её, и в этих кадрах было всё, что она умела: точность, сила, пластика, — и ни капли души.

Она двигалась идеально. Каждое движение было отработано, каждый поворот — выверен. Она обхватывала шест ногами, скользила по нему вниз, выгибалась, — и её тело было как инструмент: точное, послушное, безупречное. Грудь качалась в такт движению, бёдра ходили из стороны в сторону, живот напрягался и расслаблялся, — и всё это было красиво, и всё это было мёртво. Лицо её оставалось спокойным, глаза смотрели чуть мимо, как смотрят в окно автобуса, — и в этом спокойствии было что-то механическое, как в хорошо смазанном станке.

Он опустил камеру.

— Стоп.

Она остановилась — на полушесте, — и посмотрела на него. Музыка ещё играла, и она выключила её сама, не дожидаясь просьбы.

— Что? — спросила она, и в голосе была не обида, а удивление. — Что не так?

— Вы танцуете, как робот.

Она замерла. И он увидел, как на её лице — спокойном, деловом — что-то дрогнуло. Не обида. Что-то глубже.

— Как робот? — переспросила она.

— Идеально. И мёртво.

Она засмеялась — коротко, зло, как кашлянула.

— А вы думали, я танцую для души? — спросила она.

— Я танцую за деньги. Я танцую, чтобы клиент заплатил. А клиенту не нужна душа. Клиенту нужно тело. — Она ткнула пальцем в его камеру. — И вам, между прочим, тоже. Вы же за этим пришли. За телом.

— А вам?

— А мне... — она запнулась.

— Что вам?

Она молчала. И в этой тишине было слышно, как тикают часы в углу — медленно, равнодушно, — и как где-то наверху, на втором этаже, скрипнула половица.

— Мне — ничего, — сказала она наконец. Но сказала как-то неуверенно, будто пробуя слово на вкус. — Мне — уже ничего. Восемь лет. Я забыла, что это — «мне».

V

— Выключите музыку, — сказал он.

Она выключила. И в зале стало тихо — только часы тикали в углу, маятник ходил туда-сюда, и где-то капала вода:

тонко, размеренно, как метроном.

— Теперь станцуйте, — сказал он.

Она посмотрела на него.

— Без музыки?

— Без музыки.

— Я не могу.

— Можете.

— Нет. — Она мотнула головой. — Я не умею без музыки.

Я всегда танцую под музыку. Музыка — это... — она поискала слово, — ...это как костыль. Без неё я не знаю, куда двигаться. Это как... — она замялась, — как если бы вы снимали без света. Вроде и камера в руках, а что делать — непонятно.

— А вы попробуйте.

Она долго смотрела на него. Потом встала на сцену — голая, в тишине, — и сделала первое движение. Неуверенное, как первый шаг по льду. Потом второе. Потом остановилась.

— Не могу, — сказала она. — Я не слышу ритма. Я не знаю, что делать с руками. Они мешают. — Она подняла руки и тут же опустила. — Видите? Как чужие.

— А вы не слушайте. Вы чувствуете.

Она закрыла глаза. Постояла. И вдруг — медленно, неуклюже, — начала двигаться.

Не по-сценически. Не идеально. Просто — как двигается тело, когда его никто не заставляет. Она подняла руки — медленно, будто они были тяжёлыми, — и провела ладонями по груди, по животу, по бёдрам. Потом выгнулась — не

для камеры, а просто так, — и её грудь качнулась, и соски напряглись, и она выдохнула. Громко, слышно, как выдыхают, когда долго держали воздух.

И он нажал на затвор.

VI

Она танцевала в тишине, и это было самое честное, что он видел за вечер. Не латина, не стриптиз, не работа. Просто тело — длинное, сильное, живое, — которое двигалось потому, что хотело двигаться.

Она поворачивалась — медленно, плавно, — и её бёдра качались, и живот напрягался, и грудь качалась в такт. Она поднимала руки — и под мышками были тёмные впадинки, и это было не некрасиво, а живо. Она наклонялась — и её волосы падали на лицо, и она отводила их рукой, и в этом движении было что-то такое, от чего у него перехватывало дыхание. Она не улыбалась. Она вообще не думала о том, как выглядит. Она просто была — и это было самое красивое.

А потом она заплакала.

Она не остановилась — просто слёзы потекли по лицу, и она продолжала двигаться, — и в этом движении было столько всего, что он не стал ничего говорить. Слёзы шли сами, без всхлипов, без гримас, — просто текли, и она не вытирала их, и они блестели на щеках, как капли дождя на стекле.

— Восемь лет, — сказала она сквозь слёзы. — Восемь лет

я танцевала под музыку. А надо было — вот так.

Она остановилась. Села на пол сцены — прямо на дерево, — и обхватила колени руками, и её грудь прижалась к ногам, и живот собрался в складки. Она сидела так, маленькая, сжавшаяся, и слёзы капали на дерево, и она смотрела на эти капли, как будто впервые видела, как плачут.

— Знаете, — сказала она, — я сейчас поняла, что я не помню, как это — когда танец — для себя. Не для денег. Не для клиента. А для себя. — Она посмотрела на него. — Я думала, что я профессионал. А я просто... — она запнулась.

— Что?

— Я просто забыла, зачем я танцую. — Она вытерла лицо ладонью, и на ладони осталась мокрая полоса. — Восемь лет. Каждый вечер. Я выходила и делала всё правильно. И никто ни разу не сказал: «Стоп. Так нельзя». Никто. Ни один клиент. Ни один менеджер. Все говорили: «Молодец, Карина. Красиво». А вы — первый, кто сказал: «Мёртво».

Она помолчала.

— И я вам за это благодарна. — Она усмехнулась сквозь слёзы. — Хотя, наверное, странно — благодарить за «мёртво».

VII

Он сел рядом — прямо на сцену, на дерево, — и она посмотрела на него, и в её глазах были слёзы, но она улыбалась.

Улыбка была кривая, мокрая, но настоящая.

— Спасибо, — сказала она. — Вы не думайте, я не жалею. Я просто... — она поискала слово, — ...я просто первый раз за восемь лет почувствовала, что я — не «профессионал». А просто женщина. Которая танцует.

Она помолчала. Потом посмотрела на него — внимательно, как будто решалась на что-то.

— Можно, — сказала она, — можно я вас попрошу?

— Попросите.

— Снимите меня... — она замялась, — ...не «профессионалом». Не «той, которая работает». А... — она поискала слово, — ...просто Кариной. Которая танцует для себя.

Он снял её так.

Он снимал, как она сидит на полу сцены — голая, с распущенными волосами, — и как она смотрит не в камеру, а в тёмный зал. Он снимал, как она встаёт — медленно, без спешки, — и как она делает первое движение — неуклюжее, живое. Он снимал, как она поворачивается — и как её тело блестит от пота, и как грудь качается, и как бёдра ходят из стороны в сторону.

А потом она улыбнулась — по-настоящему, тепло, — и он нажал на затвор.

VIII

Она оделась — медленно, аккуратно, — и он снимал и

это: как она натягивает платье, как поправляет волосы перед маленьким зеркалом у сцены, как проверяет, не осталось ли следов слёз. Она надела трусы, потом бюстгальтер — и на секунду замерла, глядя на себя в зеркало, как будто видела себя впервые.

— Слушайте, — сказала она у лестницы. — Вы там про правила говорили. Про татуировки.

— Говорил.

— У меня нет. — Она улыбнулась. — Я чистая. Восемь лет — и ни одной. Даже не думала.

— Почему?

— Потому что это было бы... — она поискала слово, — ...слишком личное. А я здесь — не личная. Я — работа.

Она помолчала.

— А сейчас, — сказала она, — я, наверное, впервые за восемь лет — личная.

Она поднялась по лестнице, и каблуки её стукнули по камню, и наверху она обернулась.

— Виолетта! — крикнула она. — Ты следующая!

И в ответ — низкий, тягучий голос:

— Иду, иду. Не торопи.

IX

Он остался на сцене, глядя на экран. На последнем кадре она стояла в центре сцены — голая, с распущенными воло-

сами, — и на лице у неё было то выражение, которого он не видел в начале: не деловитость, не привычка, а тихая, спокойная радость. Как будто она только что нашла что-то, что давно потеряла, и сама удивилась, что оно всё ещё здесь.

Он оставил этот кадр. Не стал удалять.

И стал ждать следующую.

Вамп

I

Виолетта вошла в зал не так, как входят на работу. Карина шла по сцене, как идут по цеху: точно, экономно, зная каждый метр. Виолетта вошла так, будто зал был её гостиной, а фотограф — гостем, которого она давно ждала и наконец дождалась. Она не шла — она позволяла себе идти. Каблуки стучали по паркету не в такт, а чуть медленнее, чем нужно, — и от этого каждый шаг становился событием.

На ней было винно-красное платье, облегавшее её так, как облегал вино стекло: не повторяя форму, а подчёркивая её тяжесть. Глубокий вырез держался на честном слове и на двух тонких бретельках. Чулки со стрелкой. Туфли на тонком каблуке. Волосы — тяжёлые, волнистые, тёмно-каштановые, — она распустила по плечам, и они лежали на груди и на спине, как мех, как тёмная шаль, которую забыли снять.

Ей было двадцать девять, и она была из тех женщин, которых природа делает по чертежу, а не по эскизу: полная, тяжёлая грудь, которая держалась сама, без всякого белья; узкая талия; широкие бёдра, которые расходились от талии плавно, тяжело, с той округлостью, от которой платья сидят

так, как сидят. Длинные ноги. И кожа — светлая, с тёплым загаром, с редкими родинками на плече и на груди, — и в вырезе было видно, как она дышит: медленно, глубоко, живот поднимался и опадал, и вместе с ним чуть двигался вырез.

Она остановилась у сцены, чуть отставив бедро, и посмотрела на него — с той ленивой, тягучей насмешкой, с какой смотрят женщины, которые знают, что на них смотрят, и давно перестали этому удивляться.

— Ну, — сказала она. Голос у неё был низкий, тягучий, как блюз в пустом зале. — Я Виолетта. Можно просто Ви. Я, говорят, «вамп». — Она усмехнулась, и усмешка вышла медленной, как будто она пробовала её на вкус. — Хотя я не «вамп». Я просто хорошо выгляжу. Это разные вещи.

— Хорошо, — согласился он.

— Вы, я слышала, не любите выбритых. — Она подняла бровь. — У меня — живая. Как вы любите.

— Проверим.

— Проверьте, — сказала она и улыбнулась так, что стало ясно: она не шутит.

II

Он попросил её встать у стула — старого, с бархатной обивкой, — который стоял в углу сцены. Бархат на сиденье был протёрт до основы, и из-под него выглядела другая

ткань, более светлая, как будто стул переодевался и забыл застегнуться. Она встала, положила руку на спинку и посмотрела на него.

— Включить музыку?

— Включите.

Она включила — медленный блюз, тягучий, с низким саксофоном, — и зал наполнился звуком, густым, как сироп. И она начала двигаться.

И он сразу увидел разницу. Карина двигалась как спортсменка: точно, сильно, экономно, каждое движение — удар. Виолетта двигалась как женщина, которая знает, что каждое её движение — уже соблазн, и не спешит им воспользоваться. Она не танцевала — она перетекала. Из позы в позу, медленно, тягуче, и её бёдра ходили из стороны в сторону, и грудь качалась в такт, и волосы падали на лицо, и она отводила их рукой — небрежно, привычно, как отводят занавеску, чтобы посмотреть в окно.

— Снимите платье, — сказал он.

Она улыбнулась — не ему, а какому-то своему отражению в его объективе, — и потянулась к молнии на боку. Молния шла от бедра до подмышки, и она расстегнула её медленно, позвонок за позвонком, и с каждым позвонком платье открывало новый кусок тела, как будто она разворачивала подарок, который сама себе сделала.

III

Сначала открылось плечо — круглое, мягкое, с ямочкой у ключицы. Потом грудь — сначала одна, потом другая, — и она вывалилась из платья, тяжёлая, полная, с крупными, тёмными сосками, которые напряглись от прохладного воздуха. Потом живот — мягкий, с тонкой, светлой дорожкой волос, — и бёдра, и платье упало к её ногам, и она переступила через него.

И осталась в чёрных чулках со стрелкой, в чёрных трусах — кружевных, с высокими вырезами, — и в туфлях на тонком каблуке. Чулки были натянуты туго, и на бёдрах, у самой резинки, кожа чуть вздулась, и эта вздутость была живой, тёплой, настоящей.

Он снимал.

Он снимал, как она стоит у стула, и как свет ложится на её плечо и на грудь, и как она дышит — глубоко, ровно, — и как её грудь поднимается и опускается. Он снимал, как она поворачивается — медленно, тягуче, — и как её бёдра качаются в такт движению, и как чулки обтягивают её ноги, и как стрелка идёт от пятки вверх, к подколенной ямке, и как на подколенной ямке собирается тень.

— Вот, — сказала она. — Смотрите.

Она подошла к стулу и села — не так, как садятся, а так, как опускаются: медленно, плавно, — и положила ногу на

ногу, и чулок натянулся, и стрелка стала видна до самого бедра.

— Вам нравится? — спросила она.

— Нравится.

— А что именно?

— Всё.

Она засмеялась — низко, тягуче, как будто смех шёл из живота.

— Вы, я смотрю, не из разговорчивых.

— Я смотрю.

— Это я уже поняла. — Она откинулась на спинку стула, и грудь её качнулась. — Знаете, что самое трудное в моей работе? Не раздеваться. Раздеваться — легко. Трудное — это потом. Когда ты уже разделась, а на тебя всё ещё смотрят. И надо что-то делать. Не стоять же просто так.

— Можно и просто так.

— Можно, — согласилась она. — Только за «просто так» не платят.

IV

Он снимал её на стуле — как она сидит, как положила руку на спинку, как наклонила голову, — и она позировала так, как позируют женщины, которые знают, что красивы, и давно перестали этого стесняться. Она не искала ракурс — она его создавала, медленно, тяжело, как создают погоду.

— Знаете, — сказала она, — я в двадцать лет думала, что буду актрисой. У меня была внешность. Мне говорили: «Ви, тебе надо в кино». А я... — она повела рукой, и жест вышел ленивым, как будто она отгоняла муху. — Я пришла сюда. Потому что здесь платят. В кино надо ждать. А здесь — каждый вечер. Каждый вечер — премьера. Каждый вечер — полный зал.

— И что?

— А ничего. — Она усмехнулась. — Я здесь девять лет. Я умею быть желанной. Я умею быть «вамп». Я умею так посмотреть, что у мужчины подгибаются коленки. — Она помолчала. — А знаете, чего я не умею?

— Чего?

— Быть не желанной. — Она посмотрела на него. — Я не умею быть просто женщиной. Я умею быть «вамп». А просто — не умею. Я даже не знаю, как это — когда на тебя смотрят и не хотят. Или хотят, но не так. Или не хотят вообще. Я разучилась.

Она чуть наклонилась вперёд, и грудь её качнулась, и она положила подбородок на ладонь.

— Вы, наверное, думаете: «Вот, ещё одна». — Она кивнула на камеру. — Которая жалуется на свою красоту. Как будто это проблема. — Она усмехнулась. — И вы правы. Это не проблема. Это — работа. Просто иногда... — она замаялась, — иногда хочется снять это всё. Как платье. И посидеть.

— Так снимите.

— Что снять?

— Всё.

Она посмотрела на него — долго, внимательно, — и в её глазах было что-то, чего он не видел в начале. Не насмешка. Что-то другое. Как будто она проверяла, можно ли ему верить.

V

— Снимите трусы, — сказал он.

Она спустила их — медленно, по одному бедру, — и переступила, и осталась в чулках и туфлях, и он увидел её всю.

У неё было тело, которое природа делает щедро: полная, тяжёлая грудь с крупными, тёмными сосками; узкая талия; широкие, тяжёлые бёдра с той округлостью, от которой платья сидят так, как сидят; сильные ноги в чулках; и та самая живая линия внизу — тёмная, ухоженная, но не выбритая в гладь, — которую она не трогала, и от этого её тело казалось ещё более женственным, ещё более настоящим. На левом бедре, чуть выше резинки чулка, была маленькая родинка, похожая на запятую, — и он подумал, что эта запятая стоит там много лет и никуда не денется.

Она стояла, опустив руки, и не прикрывалась, и смотрела на него — прямо, с той ленивой насмешкой, — но в глазах у неё было что-то, чего он не видел в начале. Не страх. Что-то другое. Как будто она ждала, что он скажет.

— Вот, — сказала она. — Смотрите. Вот моё тело. Которое все хотят.

Он снимал.

Он снимал, как она стоит у стула, и как свет ложится на её грудь и на бёдра, и как она дышит, и как на её плечах выступили мурашки. Он снимал, как она поворачивается — медленно, тягуче, — и как её бёдра качаются, и как чулки натягиваются на ногах. Вблизи было видно, что кожа у неё не идеальная: на животе — тонкая полоска от резинки трусов, на плече — след от бретельки, на спине — россыпь мелких родинок, как брызги. Это была не глянцеваая кожа, а живая, тёплая, с историей.

— Повернитесь, — сказал он.

Она повернулась — и он увидел её спину: широкую, мягкую, с ложбинкой вдоль позвоночника, с двумя ямочками над поясницей, которые стали глубже, когда она чуть прогнулась. И на левой лопатке — не шрам, а след от лямки, тонкий, как след от ногтя.

— У вас красивая спина, — сказал он.

— У меня спина женщины, которую все хотят.

— У вас красивая спина.

Она обернулась через плечо.

— Вы это всем говорите?

— Я говорю, что вижу.

Она помолчала. Потом сказала — тише, без насмешки:

— Мне давно никто не говорил, что у меня красивая спи-

на. Говорят: «У тебя красивая грудь». Или: «У тебя красивые ноги». А спина... — она повела плечом. — Спину никто не замечает. Спина — для себя.

VI

— А теперь, — сказал он, — сделайте то, что вы никогда не делаете на сцене.

Она обернулась.

— Что?

— Не знаю. Вы лучше знаете.

Она замерла. И он увидел, как на её лице — насмешливом, ленивом — что-то дрогнуло: сначала недоумение, потом — растерянность.

— Я не знаю, что я не делаю, — сказала она. — Я делаю всё.

— Всё — для клиента. А для себя?

Она молчала.

— Ну? — сказал он. — Что бы вы сделали, если бы я вышел из зала?

— В смысле?

— Если бы здесь никого не было. Ни клиентов, ни камеры. Что бы вы сделали?

Она долго смотрела на него. Потом сказала — тихо, будто признание:

— Я бы села.

— Садитесь.

— Я и так сижу.

— Не так. — Он покачал головой. — Не по-сценически. Не «вамп». Просто села.

И она вдруг поняла. Медленно, неуклюже — совсем не так, как сидела до этого, — она сползла со стула на пол, на дерево сцены, и вытянула ноги, и оперлась спиной о ножку стула, и её грудь легла на живот, а живот собрался в складки.

И это было самое некрасивое, что она делала за весь вечер. И самое честное.

Он нажал на затвор.

VII

— Вот, — сказала она. — Вот так я сижу дома. На полу. У дивана. С чашкой чая.

— И что вы чувствуете?

— Ничего. — Она пожала плечом. — Просто сижу. У меня даже чашки нет. Я её разбила в прошлом месяце. И новую не купила. Всё думала: куплю. А потом забыла.

— А сейчас?

Она задумалась.

— Сейчас... — она повела рукой, — ...странно. Я голая, я сижу на полу, как дома, и мне... — она поискала слово, — ...мне не хочется быть «вамп».

— А чего хочется?

Она посмотрела на него — и в её глазах было что-то, чего он не видел раньше.

— Хочется, чтобы на меня посмотрели и сказали: «Ви, ты устала».

Он опустил камеру.

— Вы устали.

Она замерла. И вдруг заплакала — не так, как Карина, не с всхлипами, а тихо, будто слёзы шли сами, без её разрешения. Они текли по лицу, и она не вытирала их, и они капали на грудь, на живот, на дерево сцены, и она смотрела на эти капли, как будто впервые видела, как плачут.

— Девять лет, — сказала она. — Девять лет я улыбаюсь. Девять лет я смотрю так, чтобы у них подгибались коленки. Девять лет... — она запнулась. — А никто ни разу не спросил, устала ли я.

Она вытерла лицо ладонью — резко, зло.

— Вот, — сказала она. — Теперь вы видели «вампи» в соплях. Довольны?

— Я видел Виолетту.

Она подняла на него глаза. И в них было столько всего — обида, благодарность, страх, — что он не стал ничего говорить. Просто сел рядом, на пол, на дерево, и она прислонилась к его плечу, и её волосы упали ему на руку, и они были тяжёлые, тёплые, пахли духами и пылью.

VIII

Она сидела на полу — голая, в чулках, с распущенными волосами, — и он снимал её: как она сидит, как грудь лежит на животе, как она обхватила колени руками, как на её лице появляется то выражение, которого он не видел в начале: не насмешка, не «вамп», а тихая, робкая нежность к себе.

А потом она подняла руки и взялась за резинку чулка — и потянула её вниз. Медленно, неуклюже, без всякой грации. Чулок собрался в гармошку у щиколотки, и она стянула его через пятку, и он повис у неё в руке, как сброшенная кожа. Потом второй. Она делала это не для камеры — она делала это потому, что ей было неудобно, потому что чулки давили, потому что хотелось снять.

И когда она сняла оба, и туфли, и осталась совсем голая, босая, с растрёпанными волосами, — она выпрямила ноги и посмотрела на свои ступни, как будто впервые их видела.

— Вот, — сказала она. — Теперь совсем.

Он нажал на затвор.

— Что это было? — спросил он.

— Не знаю. — Она улыбнулась сквозь слёзы. — Просто... сняла. Всё сняла. Как будто разделась до конца. А то всё — «вамп», «вамп». А «вамп» — это тоже одежда. Только её не снимешь, как платье. Она внутри.

Она помолчала.

— А теперь, — сказала она, — я, кажется, сняла и её.

IX

Она оделась — медленно, аккуратно, — и он снимал и это: как она натягивает платье, как поправляет волосы перед маленьким зеркалом у сцены, как проверяет, не осталось ли следов слёз. Она надела чулки, потом трусы, потом платье, и на секунду замерла, глядя на себя в зеркало, как будто видела себя впервые.

— Слушайте, — сказала она у лестницы. — Вы там про правила говорили. Про выбритость.

— Говорил.

— У меня — живая. — Она улыбнулась. — Как вы любите. Я, представьте, оставила.

— Я заметил.

— И что? — Она обернулась. — Подошло?

— Подошло.

Она засмеялась — легко, без вызова.

— Знаете, — сказала она, — я, наверное, зря вас боялась.

— Вы меня боялись?

— Ну а как же. — Она открыла дверь. — Вы же снимаете не то, что мы показываем. А то, что есть.

Она поднялась по лестнице, и каблуки её стукнули по камню, и наверху она обернулась.

— Ася! — крикнула она. — Ты следующая!

И в ответ — тихий, испуганный голос:
— Сейчас.

X

Он остался у стула. Не стал смотреть на экран. Впервые за вечер ему не хотелось проверять кадры.

Он положил камеру на сиденье — на бархат, который ещё хранил тепло её тела, — и провёл ладонью по спинке. Бархат был мягкий, протёртый, и в нём застряли две длинные тёмные волосинки. Он не стал их снимать.

В зале пахло её духами — сладкими, тяжёлыми, с чем-то пудровым, — и этот запах смешивался с запахом пыли и старого дерева, и от этого смешения становилось душно. Он расстегнул воротник.

Наверху, в темноте, кто-то тихо, неуверенно переступал с ноги на ногу — так, как переступают, когда боятся войти. И он подумал, что следующая будет другой. Совсем другой. Они все были другими. Но почему-то от этой мысли ему стало не легче, а тяжелее.

Он взял камеру и пошёл к сцене. Бархат на стуле медленно остывал.

Новичок

I

Она вошла в зал на цыпочках — будто надеялась, что пол не скрипнет, — и остановилась у самой лестницы, держась за перила, как держатся за поручень в автобусе, который вот-вот тронется. На ней было простое чёрное платье — не сценическое, а то, что надевают на первое свидание или на собеседование, — и оно было ей чуть велико в плечах, и она то и дело поправляла сползающий рукав. Туфли на невысоком каблуке, тоже не сценические, с потёртыми носами. Волосы — светлые, тонкие, — она собрала в хвост, и хвост был жиденький, детский, перехваченный простой резинкой. И лицо — бледное, с большими глазами, — и в этих глазах был такой страх, что он невольно опустил камеру.

Ей было девятнадцать, и она была из тех, кого природа ещё не до конца оформила: худенькая, почти подростковая, с узкими плечами и тонкими руками, с маленькой грудью, которая в платье почти не угадывалась, с узкими бёдрами и длинными, но не сильными ногами. И во всей её фигуре было что-то нежное, недоделанное, как у девочки, которая ещё не знает, какой станет. Она стояла, переминаясь с ноги

на ногу, и грызла ноготь — большой палец правой руки, — и не замечала, что делает.

— Здравствуйте, — сказала она. — Я Ася. Я... — она запнулась. — Я новенькая.

— Здравствуйте.

— Я, наверное, зря пришла. — Она всё ещё держалась за перила. — Я могу уйти. Правда. Я не обижусь.

— Можете. Но вы уже пришли.

Она посмотрела на него — долго, испуганно, — и вдруг кивнула, будто решилась. Отпустила перила. Сделала шаг. Потом ещё один.

II

Он попросил её выйти на сцену. Она вышла — медленно, на цыпочках, — и остановилась у шеста, но не у самого, а в шаге от него, будто боялась, что он её ударит. Латунь блестя в свете лампы, и она смотрела на неё, как смотрят на что-то живое.

— Три месяца, — сказала она. — Я здесь три месяца. И я до сих пор не привыкла.

— К чему?

— Ко всему. — Она повела рукой, и рука у неё была тонкая, детская. — К сцене. К свету. К тому, что на меня смотрят. — Она помолчала. — К тому, что я раздеваюсь.

— А зачем вы это делаете?

Она опустила глаза. И он заметил, что у неё дрожат ресницы — часто-часто, как у человека, который вот-вот заплачет, но держится.

— Я учусь, — сказала она. — На врача. Второй курс. — Она подняла глаза. — Вы не думайте, я не ради денег. То есть ради денег тоже. Но не только. Я... — она замялась. — Я хочу понять. Тело. Как оно работает. Не по учебнику. По настоящему.

— И как? Поняли?

— Нет. — Она покачала головой. — Чем больше смотрю, тем меньше понимаю. Я знаю, как называются мышцы. Я могу показать, где селезёнка. А своё тело — не знаю. Я его стесняюсь. Как будто оно — не моё. Как будто я в нём — гость.

Она помолчала.

— Мама думает, что я работаю в кафе. — Она усмехнулась, но усмешка вышла кривой. — Если узнает — она меня убьёт. Или, что хуже, заплачет. Она умеет так плакать, что лучше бы убила.

III

— Как вы танцуете? — спросил он.

— Никак. — Она покачала головой. — Я не умею. Я не танцую. Я просто... — она замялась, подыскивая слово, — ...просто двигаюсь. Как могу.

— Покажите.

Она посмотрела на него — испуганно.

— Прямо сейчас?

— Прямо сейчас.

Она отошла на середину сцены — в пятно света от одинокой лампы, — и постояла секунду, и вдруг начала двигаться. Неуклюже. Не в такт. Руки — как палки. Ноги — как будто она забыла, что с ними делать. Она повернулась — и чуть не упала, схватилась за шест, и латунь отозвалась тихим звоном. Остановилась. Покраснела.

— Я же говорила, — сказала она.

— Продолжайте.

— Я не могу. — Она отпустила шест. — Я не умею. Я не понимаю, что делать с руками. Они мешают. Я не понимаю, куда смотреть. Я не понимаю... — она запнулась.

— Не понимаете — что?

— Как быть красивой, — сказала она тихо. — Я не умею быть красивой. Я умею быть умной. Я умею быть старательной. Я умею быть хорошей дочерью. А красивой — не умею.

Она стояла в пятне света, и в её глазах были слёзы, и она их не вытирала.

— Тогда не будьте красивой, — сказал он. — Будьте собой.

— А кто я?

— Вот это и покажите.

И она продолжила — ещё неуклюжее, ещё отчаяннее, —

и в этом движении было столько всего, что он не стал ничего говорить, а просто снимал. Она двигалась, и её хвост мотался из стороны в сторону, и она то и дело поправляла сползающий рукав, и в какой-то момент махнула рукой — резко, зло, — и сказала:

— Да гори оно всё.

И это было первое настоящее движение за весь вечер.

IV

— Разденьтесь, — сказал он. — Только не для меня. Для себя. Как будто вас никто не видит.

Она замерла. И он увидел, как её лицо меняется: сначала недоумение, потом — страх.

— Как это — «никто не видит»? — спросила она. — Вы же здесь.

— Я здесь. Но вы можете сделать вид, что меня нет.

— Я не умею. — Она обхватила себя руками. — Я не умею, когда меня не видят. Я всегда — когда видят. С детства. Мама смотрит. Учителя смотрят. Врачи смотрят. Я не помню, как это — когда никто не смотрит.

— А вы попробуйте.

Она долго стояла, глядя в сторону. Потом повернулась к нему спиной — медленно, будто ей было стыдно даже затылком, — и он услышал, как она расстёгивает молнию. Молния шла туго, с заеданием, и она дёргала её, и наконец та подда-

лась с тихим треском. Платье соскользнуло с плеч и упало к её ногам, и она переступила через него, не оборачиваясь.

Она стояла спиной к нему — худая, с торчащими лопатками, с ложбинкой вдоль позвоночника, — и он видел, как она дрожит. Не от холода. От страха. Плечи подрагивали мелко, часто, как у замёрзшего щенка.

— Я не могу повернуться, — сказала она.

— Можете.

— Нет.

— Почему?

— Потому что вы смотрите.

— Я всегда смотрю. Это моя работа.

Она засмеялась — коротко, нервно.

— Вот именно. Вы смотрите. А клиент — он не смотрит. Он глазеет. Это разное. — Она помолчала. — Клиент видит тело. А вы видите меня. Это страшнее.

Он опустил камеру.

— Ася. Повернитесь.

И она повернулась — медленно, будто через силу, — и он увидел её всю: в простом белом лифчике, хлопковом, с чуть растянутой резинкой, и в таких же простых трусах, и в туфлях с потёртыми носами. Грудь у неё была маленькая, почти незаметная под лифчиком, и она тут же прикрыла её руками, и живот втянула, и стояла так — сжавшаяся, напряжённая, — как стоят на приёме у врача, когда знают, что сейчас будут слушать.

— Вот, — сказала она. — Смотрите.

Он снимал.

Он снимал, как она стоит у шеста, и как свет ложится на её плечо и на грудь, и как она дышит — часто, поверхностно, — и как на её плечах выступили мурашки. Он снимал, как она поворачивается — медленно, неуклюже, — и как её руки всё время тянутся прикрыться, и как она одёргивает их, и как они снова тянутся.

V

— Снимите всё, — сказал он. — Но не сразу. Сначала лифчик. Потом по стойте. Потом трусы. И не прикрывайтесь. Совсем.

Она посмотрела на него — долго, испуганно, — и вдруг кивнула. И он понял, что она делает это не потому, что он велел, а потому, что сама решила. Впервые за вечер она что-то решила сама.

Она расстегнула лифчик — медленно, неуклюже, крючки не слушались, и она возилась с ними, и краснела, — и наконец он поддался, и грудь её вывалилась, маленькая, с крупными, тёмными сосками, которые напряглись от прохладного воздуха. Она не прикрылась. Она стояла, опустив руки, и смотрела на него — прямо, как будто проверяла, выдержит ли.

— Хорошо, — сказала она. — Вот так.

— Пойдите так.

Она стояла. И он снимал её в этой неподвижности — как она дышит, как дрожат её плечи, как на шее бьётся жилка. Как она смотрит не в камеру, а мимо, в тёмный зал, и как в этом взгляде постепенно что-то меняется: страх уходит, а на его место приходит что-то другое. Не спокойствие. Что-то более хрупкое.

А потом она спустила трусы — по одному бедру, — и переступила через них, и осталась стоять в туфлях, и он увидел её всю: худенькую, почти подростковую, с плоским животом и узкими бёдрами, и ту самую линию внизу — светлую, аккуратную, живую, — которая была у неё, видимо, от природы, и которую она не трогала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.